

## ВОЙНА И МИР

### ПРОЛОГ

Хорошо вам.  
Мертвые сраму не имут.  
Злобу  
к умершим убийцам туши.  
Очистительнейшей влагой вымыт  
грех отлетевшей души.

Хорошо вам!  
А мне  
сквозь строй,  
сквозь грохот  
как пронести любовь к живому?  
Оступлюсь —  
и последней любвишки кроха  
навек канет в дымный омут.

Что́ им,  
вернувшись,  
печали ваши,  
что́ им  
каких-то стихов бахрома?!  
Им  
на паре б деревяшек  
день кое-как прохромать!

Боишься!  
Трус!  
Убьют!  
А так  
полсотни лет еще можешь, раб, расти.  
Ложь!

Я знаю,  
и в лаве атак  
я буду первый  
в геройстве,  
в храбрости.

О, кто же,  
набатом гибнущих годин  
званный,  
не выйдет брав?  
Все!  
А я  
на земле  
один  
глашатай грядущих правд.

Сегодня ликую!  
Не разбрызгав,  
Душу  
сумел,  
сумел донести.  
Единственный человеческий,  
среди воя,  
среди визга,  
голос  
подъемлю днесь.

А там  
расстреливайте,  
вяжите к столбу!  
Я ль изменюсь в лице!  
Хотите —  
туза  
нацелю на лбу,  
чтоб ярче горела цель?!

## ПОСВЯЩЕНИЕ

*Лиле*

8 октября.  
1915 год.  
Даты  
времени,

смотревшего в обряд  
посвящения меня в солдаты.

«Слышите!  
Каждый,  
ненужный даже,  
должен жить;  
нельзя,  
нельзя ж его  
в могилы траншей и блиндажей  
вкопать заживо —  
убийцы!»

Не слушают.  
Шестипудовый унтер сжал, как пресс.  
От уха до уха vybrили аккуратненько.  
Мишенью  
на лоб  
нацепили крест  
ратника.

Теперь и мне на запад!  
Буду идти и идти там,  
пока не оплачут твои глаза  
под рубрикой  
«убитые»  
набранного петитом.

## ЧАСТЬ I

*accelerando*



ТРА\_РА\_РА \_ РА\_РА\_РА\_РА\_РА \_ РА\_РА\_РА\_РА\_РА\_



ТРА\_РА\_РА \_ РА\_РА\_РА\_РА\_РА\_РА\_РА\_РА\_РА\_РА\_

И вот  
на эстраду,  
колеблемую костром оркестра,  
вывалился живот.  
И начал!

Рос в глазах, как в тысячах луп.  
 Змеился.  
 Пот сиял лачком.  
 Вдруг —  
 остановил мелькающий пуп,  
 вывертелся волчком.

Что было!  
 Лысины слиплись в одну луну.  
 Смаслились глазки, щелясь.  
 Даже пляж,  
 расхлестав соленую слюну,  
 ослабил утыканную домами челюсть.

Вывертелся.  
 Рты,  
 как электрический ток,  
 скрючило «браво».  
 Bravo!  
 Бра-аво!  
 Бра-а-аво!  
 Бра-а-а-аво!  
 Б-р-а-а-а-в-о!  
 Кто это,  
 кто?  
 Эта массомыся  
 быкомордая орава?

Стихам не втиснешь в тихие томики  
 крик гнева.  
 Это внуки Колумбов,  
 Галилеев потемки  
 ржут, запутанные в серпантинный невод!



А там,  
 всхлобучась на вечер чинный,

женщины  
раскачивались шляпой стопёрой.  
И в клавиши тротуаров бухали мужчины,  
уличных блудилищ остервенелые тапёры.

Вправо,  
влево,  
вкривь,  
вкось,  
выфрантив полей лоно,  
вихрились нанизанные на земную ось  
карусели  
Вавилониц,  
Вавилончиков,  
Вавилонов.

Над ними  
бутыли,  
восхищающие длиной.  
Под ними  
бокалы  
пьяной ямой.  
Люди  
или валялись,  
как упившийся Ной,  
или грохотали мордой многохамой!

Нажрутся,  
а после,  
в ночной слепоте,  
вывалясь мясами в пухе и вате,  
сползутся друг на друге потеть,  
города содрогая скрипом кроватей.

Гниет земля,  
ламп огни ей  
взрывают кору горой волдырей;  
дрожа городов агонией,  
люди мрут  
у камня в дыре.

Врачи  
одного

вынули из гроба,  
чтоб понять людей небывалую убыль:  
в прогрызанной душе  
золотолапым микробом  
вился рубль.

Во все концы,  
чтоб скорее вылить  
смерть,  
взбурлив людей крышам вровень,  
сердце столиц тысячесильные Дизели  
вогнали вагоны зараженной крови.

Тихие!  
Недолго пожили.  
Сразу  
железо рельс всочило по жиле  
в загар деревень городов заразу.  
Где пели птицы — тарелок лязги.  
Где бор был — площадь стодомым содомом.  
Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски  
публичный дом за публичным домом.

Солнце подымет рыжую голову,  
запекшееся похмелье на вспухшем рте,  
и нет сил удержаться голому —  
взять  
не вернуться ночам в вертеп.

И еще не успеет  
ночь, арапка,  
лечь, продажная,  
в отдых,  
в тень, —  
на нее  
раскаленную тушу вскарабкал  
новый голодный день.

В крыши зажатые!  
Горсточка звезд,  
ори!  
Шарахайся испуганно, вечер-инок!  
Идем!

Раздуем на самок  
ноздри,  
выеденные зубами кокаина!

## ЧАСТЬ II

Это случилось в одну из осеней,  
были  
горюче-сúхи  
все.  
Металось солнце,  
сумасшедший маляр,  
оранжевым колером пыльных выпачкав.

Откуда-то  
на землю нахлынули слухи.  
Тихие.  
Заходили на цыпочках.

Их шепот тревогу в груди выселил,  
а страх  
под черепом  
рукой красной  
распутывал, распутывал и распутывал мысли,  
и стало невыносимо ясно:  
если не собрать людей пучками рот,  
не взять и не взрезать людям вены —  
зараженная земля  
сама умрет —  
сдохнут Парижи,  
Берлины,  
Вены!

Чего размякли?!  
Хныкать поздно!  
Раньше б раскаянье осеняло!  
Тысячеруким врачам  
ланцетами роздано  
оружье из арсеналов.

Италия!  
Королю,  
брадобрею ли

ясно —  
некуда деться ей!  
Уже сегодня  
реяли  
немцы над Венецией!

Германия!  
Мысли,  
музеи,  
книги,  
каньте в разверстые жерла.  
Зевы зарев, оскальтесь нагло!  
Бурши,  
скачите верхом на Канте!  
Нож в зубы!  
Шашки наголо!

Россия!  
Разбойной ли Азии зной остыл?!  
В крови желанья бурлят ордой.  
Выволакивайте забившихся под Евангелие  
Толстых!

За ногу худую!  
По камню бородой!

Франция!  
Гони с бульваров любовный шепот!  
В новые танцы — юношей выловить!  
Слышишь, нежная?  
Хорошо  
под музыку митральезы жечь и насиловать!

Англия!  
Турция!..  
Т-р-а-а-ах!  
Что это?  
Послышалось!  
Не бойтесь!  
Ерунда!  
Земля!  
Смотрите,  
что по волосам ее?  
Морщины окопов легли на чело!



Т-с-с-с-с-с... —  
грохот.  
Барабаны, музыка?  
Неужели?  
Она это,  
она самая?  
Да!  
НАЧАЛОСЬ.

### ЧАСТЬ III

Нерон!  
Здравствуй!  
Хочешь?  
Зрелище величайшего театра.  
Сегодня  
бьются  
государством в государство  
16 отборных гладиаторов.  
Куда легендам о бойнях Цезарей  
перед былью,  
которая теперь была!  
Как на детском лице заря,  
нежна ей  
самая чудовищная гипербола.

Белкой скружишься у смеха в колесе,  
когда узнает твой прах о том:  
сегодня  
мир  
весь — Колизей,  
и волны всех морей  
по нем изостлались бархатом.

Трибуны — скалы,  
и на скале там,  
будто бой ей зубы выломил,  
поднебесья соборов  
скелет за скелетом  
выжглись  
и обнеслись перилами.

Сегодня заревом в земную плешь она,  
кровавая толп ропот,  
в небо  
люстрой подвешена  
целая зажженная Европа.

Пришли,  
расселись в земных долинах  
гости  
в страшном наряде.  
Мрачно поигрывают на шеях длинных  
ожерелья ядер.

Золото славян.  
Черные мадьяр усы.  
Негров непроглядные пятна.  
Всех земных широт ярусы  
вытолпила с головы до пят она.  
И там,  
где Альпы,  
в закате грея,  
выласкали в небе лед щеки, —  
облаков галереей  
наохлились зоркие летчики.

И когда  
на арену  
воины  
вышли  
парадными парами,  
в версты шарахнув театром удвоенный  
грохот и гром миллиардных армий, —  
шар земной  
полюсы стиснул  
и в ожидании замер.  
Седоволосые океаны  
вышли из берегов,  
впились в арену мутными глазами.  
Пылающими сходнями  
спустилось солнце —  
суровый  
вечный арбитр.  
Выгорая от любопытства,  
звезд глаза повылезли из орбит.

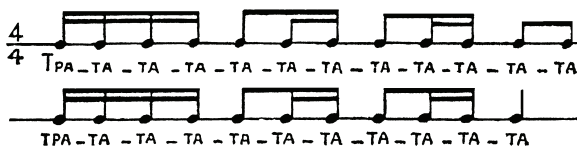
А секунда медлит и медлит.  
 Лень ей.  
 К началу кровавых игр,  
 напряженный, как совокупление,  
 не дыша, остановился миг.

Вдруг —  
 секунда вдребезги.  
 Рухнула арена дыму в дыру.  
 В небе — ни зги.  
 Секунды быстрились и быстрились  
 взрывали,  
 ревели,  
 рвали.  
 Пенной выстрел на выстреле  
 огнел в кровавом вале.

Вперед!



Вздогнула от крика грудь дивизий.  
 Вперед!  
 Пена у рта.  
 Разящий Георгий у знамен в девизе,  
 барабаны:



Бутафор!  
 Катафалк готовь!  
 Вдов в толпу!  
 Мало вдов еще в ней.  
 И взвился  
 в небо  
 фейерверк фактов,  
 один другого чудовищней.

Выпучив глаза,  
маяк  
из-за гор  
через океаны плакал;  
а в океанах  
эскадры корчились,  
насаженные мине на кол.

Дантова ада кошмаром намаранней,  
громоголосие меди грохотом изоржав,  
дрожа за Париж,  
последним  
на Марне  
ядром отбивается Жоффр.

С юга  
Константинополь,  
оскалив мечети,  
выблевывал  
вырезанных  
в Босфор.  
Волны!  
Мечите их,  
впившихся зубами в огрызки просфор.

Лес.  
Ни голоса.  
Даже нарочен  
в своей тишине.  
Смешались их и наши.  
И только  
проходят  
вбóроны да ночи,  
в чернь облачась, чредой монашьей.

И снова,  
грудь обнажая зарядам,  
плывя по веснам,  
пробиваясь в зиме,  
армия за армией,  
ряд за рядом  
заливают мили земель.

Разгорается.  
Новых из дубров волок.  
Огня пентаграмма в пороге луга.  
Молниями колючих проволок  
сожраны сожженные в уголь.

Батареи добела раскалили жару.  
Прыгают по трупам городов и сел.  
Медными мордами жрут  
всё.

Огневержец!  
Где не найдешь, карая!  
Впутаясь ракете,  
в небо вбегу —  
с неба,  
красная,  
рдея у края,  
кровь Пегу.

И тверди,  
и воды,  
и воздух взрыт.  
Куда направлю опромети шаг?  
Уже обезумевшая,  
уже навзрыд,  
вырываясь, молит душа:

«Война!  
Довольно!  
Уйми ты их!  
Уже на земле голó».  
Метнулись гонимые разбегом убитые,  
и еще  
минуту  
бегут без голов.

А над всем этим  
дьявол  
заревом зевот дымит.  
Это в созвездии железнодорожных линий  
стоит  
озаренное пороховыми заводами  
небо в Берлине.

Никому не ведомо,  
дни ли,  
годы ли,  
с тех пор, как на поле  
первую кровь войне отдали,  
в чашу земли сцедив по капле.

Одинаково —  
камень,  
болото,  
халупа ли,  
человечьей кровью вымочили весь его.  
Везде  
шаги  
одинаково хлюпали,  
меся дымящееся мира мёсиво.

В Ростове  
рабочий  
в праздничный отдых  
захотел  
воды для самовара выжать, —  
и отшатнулся:  
во всех водопроводах  
сочилась та же рыжая жижа.

В телеграфах надрывались машины Морзе.  
Орали городам об юных они.  
Где-то  
на Ваганькове  
могильщик заерзал.  
Двинулись факельщики в хмуром Мюнхене.

В широко развороченную рану полка  
раскаленную лапу всунули прожекторы.  
Подняли одного,  
бросили в окоп —  
того,  
на ноже который!  
Библеец лицом,  
изо рва  
ряса.

«Вспомните!  
 За ны!  
 При Понтийстем Пилате!»  
 А ветер ядер  
 в клочки изорвал  
 и мясо и платье.



Выдернулась из дыма сотня голов.  
 Не смей заплаканных глаз им!  
 Заволокло  
 газом.



Белые крылья выросли у души,  
 стон солдат в пальбе доносится.  
 «Ты на небо летишь, —  
 удуши,  
 удуши его,  
 победоносца».

Бьется грудь неровно...  
 Шутка ли!  
 К богу на́ дом!  
 У рая, в облака бронированного,  
 дверь расшибаю прикладом.

Трясутся ангелы.  
 Даже жаль их.  
 Белее перышек личика овал.  
 Где они —  
 боги!  
 «Бежали,  
 все бежали,  
 и Саваоф,  
 и Будда,

и Аллах,  
и Иегова».



Ухало.  
Ахало.  
Охало.  
Но уже не та канонада,  
повздыхала еще  
и заглохла.  
Вылезли с белым.  
Взмолились:  
— не надо! —

Никто не просил,  
чтоб была победа.  
родине начертана.  
Безрукому огрызку кровавого обеда  
на чёрта она?!

Последний на штык насажен.  
Наши отходят на Ковно,  
на сажень  
человечьего мяса нашинковано.

И когда затихли  
все, кто напáдали,  
лег  
батальон на батальоне —  
выбежала смерть  
и затанцевала на падали,  
балета скелетов безногая Тальони.

Танцует.  
Ветер из-под коска.  
Шевельнул папахи,  
обласкал на мертвом два волоска,  
и дальше —  
попахивая.



Пятый день  
в простреленной голове  
поезда выкручивают за изгибом изгиб.  
В гниющем вагоне  
на сорок человек —  
четыре ноги.

#### ЧАСТЬ IV

Эй!  
Вы!  
Притушите восторженные глазенки!  
Лодочки ручек суньте в карман!  
Это  
достойная награда  
за выжатое из бумаги и чернил.

А мне за что хлопать?  
Я ничего не сочинил.

Думаете:  
врет!  
Нигде не прострелен.  
В целехоньких висках биенья не уладить,  
если рукоплещут  
его барабанов трели,  
его проклятий рифмованной руладе.

Милостивые государи!  
Понимаете вы?  
Боль берешь,  
растишь и растишь ее:  
всеми пиками истыканная грудь,  
всеми газами свороченное лицо,  
всеми артиллериями громимая цитадель

ГОЛОВЫ —

каждое мое четверостишие.

Не затем  
взвела  
по насыпям тел она,  
чтоб, горестный,  
сочил заплаканную гнусь;  
страшной тяжестью всего, что сделано,

без всяких  
«красиво»,  
прижатый, гнусь.

Убиты —  
и все равно мне, —  
я или он их  
убил.  
На братском кладбище,  
у сердца в яме,  
легли миллионы, —  
гниют,  
шевелятся, приподымаемые червями!

Нет!  
Не стихами!  
Лучше  
язык узлом завяжу,  
чем разговаривать.  
Этого  
стихами сказать нельзя.  
Выхоленным ли языком поэта  
горящие жаровни лизать!

Эта!  
В руках!  
Смотрите!  
Это не лира вам!  
Раскаяньем вспоротый,  
сердце вырвал —  
рву аорты!

В кашу рукоплесканий ладош не вмéсите!  
Нет!  
Не вмéсите!  
Рушья, комнат уют!  
Смотрите,  
под ногами камень.  
На лобном месте стою.  
Последними глотками  
воздух...

Вытеку, срубленный,  
ко кровью выем  
имя «убийца»,  
выклейменное на человеке.  
Слушайте!  
Из меня  
слепым Вием  
время орет:  
«Подымите,  
подымите мне  
веков веки!»

Вселенная расцветет еще,  
радостна,  
нова.  
Чтоб не было бессмысленной лжи за ней,  
каюсь:  
я  
один виноват  
в растущем хрусте ломаемых жизней!

Слышите —  
солнце первые лучи выдало,  
еще не зная,  
куда,  
отработав, денется, —  
это я,  
Маяковский,  
подножию идола  
нес  
обезглавленного младенца.

Простите!

В христиан зубов резцы  
вонзая,  
львы вздымали рык.  
Вы думаете — Нерон?  
Это я,  
Маяковский  
Владимир,  
пьяным глазом обволакивал цирк.

Простите меня!

Воскрес Христос.  
Свили  
одной любовью  
с устами уста вы;  
Маяковский  
еретикам  
в подземелье Севильи  
дыбой выворачивал суставы.

Простите,  
простите меня!

Дни!  
Вылазьте из годов лачуг!  
Какой раскрыть за собой  
еще?  
Дымным хвостом по векам волочу  
оперенное пожарами побоище!

Пришел.

Сегодня  
не немец,  
не русский,  
не турок, —  
это я  
сам,  
с живого сдирая шкуру,  
жру мира мясо.  
Тушами на штыках материка.  
Города — груды глиняные.

Кровь!  
Выцеди из твоей реки  
хоть каплю,  
в которой невинен я!

Нет такой!  
Этот  
выколотыми глазами —  
пленник,  
мною меченный.  
Я,  
в поклонах разбивший колени,  
голодом выглодал зёмли неметчины.

Мечу пожаров рыжие пряди.  
Волчьи щетинюсь из темени ям.  
Люди!  
Дорогие!  
Христа ради,  
ради Христа,  
простите меня!

Нет,  
не подыму искаженного тоской лица!  
Всех окаяннее,  
пока не расколется,  
буду лоб разбивать в покаянии!

Встаньте,  
ложью верженные ниц,  
оборванные войнами  
калеки лет!  
Радуйтесь!  
Сам казнится  
единственный людоед.

Нет,  
не осужденного выдуманная хитрость!  
Пусть с плахи не соберу разодранные части я, —  
все равно  
всего себя вытряс,  
один достоин  
новых дней приять причастие.

Вытеку срубленный,  
и никто не будет —  
некому будет человека мучить.  
Люди рождаются,  
настоящие люди,  
бога самого милосердней и лучше.

## ЧАСТЬ V

А может быть,  
больше  
у времени-хамелеона  
и красок никаких не осталось.

Дернется еще  
и ляжет,  
бездыхан и угловат.  
Может быть,  
дымами и боями охмеленная,  
никогда не подыметя земли голова.

Может быть...

Нет,  
не может быть!  
Когда-нибудь да выстеклится мыслью омут,  
когда-нибудь да увидит, как хлещет из тел ала.  
Над вздыбленными волосами руки заломит,  
выстонет:

«Господи,  
что я сделала!»  
Нет,  
не может быть!  
Грудь,  
срази отчаянья лавину.  
В грядущем счастье вырщи ощупь.  
Вот,  
хотите,  
из правого глаза  
выну  
целую цветущую рощу?!  
Птиц причудливых мысли роите.  
Голова,  
закинься восторженна и горда.  
Мозг мой,  
веселый и умный строитель,  
строй города!

Ко всем,  
кто зубы еще  
злой выщемил,  
иду  
в сияющих глаз заре.  
Земля,  
встань,  
тыщами  
в ризы зарев разодетых Лазарей!

И радость,  
радость!—  
сквозь дымы  
светлые лица я  
вижу.  
Вот,  
приоткрыв помертвевшее око,  
первая  
приподымается Галиция.  
В травы вкуталась ободренным боком.

Кинув ноши пушек,  
выпрямились горбатые,  
кровавленными сединами в небо канув,  
Альпы,  
Балканы,  
Кавказ,  
Карпаты.

А над ними,  
выше еще —  
двое великанов.  
Встал золототелый,  
молит:  
«Ближе!  
К тебе с изрытого взрывами дна я».  
Это Рейн  
размокшими губами лижет  
иссеченную миноносцами голову Дуная.

До колоний, бежавших за стены Китая,  
до песков, в которых потеряна Персия,  
каждый город,  
ревевший,  
смерть кидая,—  
теперь сиял.

Шепот.  
Вся земля  
черные губы разжала.  
Громче.  
Урагана ревом  
вскипает.

«Клянитесь,  
больше никого не скóсите!»  
Это встают из могильных курганов,  
мясом обрастают хороненные кости.

Было ль,  
чтоб срезанные ноги  
искали б  
хозяев,  
обоюванные головы звали по имени?  
Вот  
на череп обрубку  
вспрыгнул скаल्प,  
ноги подбежали,  
живые под ним они.

С днищ океанов и морей,  
на реях,  
оживших утопших выплыли залежи.  
Солнце!

В ладонях твоих изогрей их,  
лучей языками глаза лижи!  
В старушьё лицо твое  
смеемся,  
время!

Здоровые и целые вернемся в семьи!

Тогда  
над русскими,  
над болгарами,  
над немцами,  
над евреями,  
над всеми  
по тверди небес,  
от зарев алой,  
ряд к ряду,  
семь тысяч цветов засияло  
из тысячи разных радуг.

По обрывкам народов,  
по банде рассеянной  
эхом раскатилось  
растерянное  
«А-ах!..»



День раскрылся такой,  
что сказки Андерсена  
щенками ползали у него в ногах.

Теперь не верится,  
что мог идти  
в сумерках улочек, темный, шаря.  
Сегодня  
у капельной деЕочки  
на когте мизинца  
солнца больше,  
чем раньше на всем земном шаре.

Большими глазами землю обводит  
человек.  
Растет,  
главою гор достиг.

Мальчик  
в новом костюме  
— в свободе своей —  
важен,  
даже смешон от гордости.

Как священники,  
чтоб помнили об искупительной драме,  
выходят с причастием, —  
каждая страна  
пришла к человеку со своими дарами:

«На».

«Безмерной Америки силу несущи тебе,  
мощь машин!»

«Неаполя теплые ночи дарю,  
Италия.  
Палимый,  
пальм веерами маши».

«В холоде севера мерзнувший,  
Африки солнце тебе!»

«Африки солнцем сожженный,  
тебе,

со своими снегами,  
с гор спустился Тибет!»

«Франция,  
первая женщина мира,  
губ принесла алость».

«Юношей — Греция,  
лучшие телом нагим они».

«Чьих голосов мощь  
в песне звончее сплеталась?!  
Россия  
сердце свое  
раскрыла в пламенном гимне!»

«Люди,  
веками граненную  
Германия  
мысль принесла».

«Вся  
до недр напоенная золотом,  
Индия  
дары принесла вам!»

«Славься, человек,  
во веки веков живи и славься!  
Всякому,  
живущему на земле,  
слава,  
слава,  
слава!»

Захлебнешься!  
А тут и я еще.  
Прохожу осторожно,  
огромен,  
неуклюж.  
О, как великолепен я  
в самой сияющей  
из моих бесчисленных душ!

Мимо поздравляющих,  
праздничных мимо я,

— проклятое,  
да не колотись ты! —  
вот она  
навстречу.

«Здравствуй, любимая!»;

Каждый волос выласкиваю,  
вьющийся,  
золотистый.  
О, какие ветры,  
какого юга,  
свершили чудо сердцем погребенным?  
Расцветают глаза твои,  
два луга!  
Я кувыркаюсь в них,  
веселый ребенок.

А кругом!  
Смеяться.  
Флаги.  
Стоцветное.  
Мимо.  
Вздыбились.  
Тысячи.  
Насквозь.  
Бегом.  
В каждом юноше порох Маринетти,  
в каждом старце мудрость Гюго.

Губ не хватит улыбке столицей.  
Все  
из квартир  
на площади  
вон!  
Серебряными мячами  
от столицы к столице  
раскинем веселие,  
смех,  
звон!

Не поймешь —  
это воздух,  
цветок ли,  
птица ль!

И поет,  
и благоухает,  
и пестрее сразу, —  
но от этого  
костром разгораются лица  
и сладчайшим вином пьянеет разум.  
И не только люди  
радость личью  
расцвелили,  
звери франтовато завили руно,  
вчера бушевавшие  
моря,  
мурлыча,  
легли у ног.

Не согласишь,  
что плыли,  
смерть изрыгав, они.  
В трюмах,  
навек забывших о порохе,  
броненосцы  
провозят в тихие гавани  
всякого вздора яркие ворохи.

Кому же страшны пушек шайки  
эти,  
кроткие,  
рвут?  
Они  
перед домом,  
на лужайке,  
мирно щиплют траву.

Смотрите,  
не шутка,  
не смех сатиры —  
среди бела дня,  
тихо,  
попарно,  
цари-задиры  
гуляют под присмотром нянь.

Земля,  
откуда любовь такая нам?

Представь —  
там  
под деревом  
видели  
с Каином  
играющего в шашки Христа.

Не видишь,  
прищурилась, ищешь?  
Глазенки — щелки две.  
Шире!  
Смотри,  
мои глазища —  
всем открытая собора дверь.

Люди! —  
любимые,  
нелюбимые,  
знакомые,  
незнакомые,  
широким шествием излейтеесь в двери те.  
И он,  
свободный,  
ору о ком я,  
человек —  
придет он,  
верьте мне,  
верьте!

1915—1916